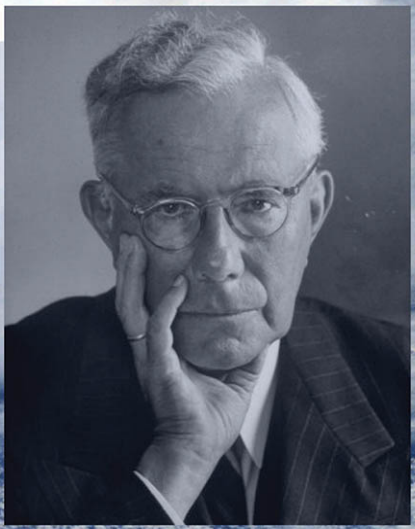
Ролло Мэй

Пауль Тиллих



Воспоминания о дружбе

УДК 615.8
ББК 84.4
М28

Мэй, Ролло.

М28 Пауль Тиллих. Воспоминания о дружбе [Электронный ресурс] / Ролло Мэй ; пер. с англ. Екатерины Семеновой. — 2-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 194 с.). — М. : Институт общегуманитарных исследований, 2016. — Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10".

ISBN 978-5-94193-861-2

Книга Ролло Мэя (1909–1994), ведущего представителя американской экзистенциальной психологии, посвящена Паулю Йоханнесу Тиллиху (1886–1965), теологу и философу, наставнику и другу автора. Основываясь на многолетнем опыте общения с Тиллихом, материалах, предоставленных его вдовой, а также на его сочинениях и рассуждениях современников, Мэй рисует портрет Тиллиха: останавливается на событиях, определивших его биографию, анализирует важнейшие понятия его учения, рассматривает его личность (в том числе с экзистенциальной точки зрения). Через книгу красной нитью проходит мысль о неразрывной связи философии Тиллиха с жизнью в различных ее проявлениях; примером этому, по мнению автора, стали личность и судьба самого ученого.

Для читателей, интересующихся психологией и философией.

УДК 615.8
ББК 84.4

Деривативное электронное издание на основе печатного издания: Пауль Тиллих. Воспоминания о дружбе / Ролло Мэй ; пер. с англ. Екатерины Семеновой. — М. : Институт общегуманитарных исследований, 2013. — 192 с. – ISBN 978-5-88230-299-2.

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.

ISBN 978-5-94193-861-2

© Институт общегуманитарных исследований, 2016

Содержание

Предисловие....3

Глава 1. НАША ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА....4

Глава 2. ЭКСТАТИЧЕСКИЙ РАЗУМ....22

Глава 3. ПРИСУТСТВИЕ ПАУЛЯ....44

Глава 4. СМЕРТЬ ЕГО МАТЕРИ....63

Глава 5. ЭРОС....82

Глава 6. МУКИ СОМНЕНИЯ....111

Глава 7. ТОТ БОГ-НАД-БОГОМ....142

Глава 8. «ДЕНЬ СМЕРТИ НАСТУПИЛ»....167

Глава первая
НАША ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Впервые я встретил Пауля Тиллиха в январе 1934 года; тогда мы не знали имен друг друга. Выходя из своей комнаты в Гастингс-Холле, общежитии Нью-Йоркской объединенной теологической семинарии, я увидел в дальнем конце коридора одинокую фигуру. Человек с растерянным видом двигался в мою сторону. Дело было в перерыве между семестрами, и все остальные студенты разъехались; в пустом и тихом помещении не было никого, кроме нас.

Косые лучи зимнего солнца падали сквозь стеклянную дверь, разделявшую холл, и когда он остановился в полосе света, я смог лучше его разглядеть. Он был среднего роста, в обыкновенном сером костюме; тут вряд ли кто-либо заметил бы что-нибудь необычное. Но его лицо я живо помню до сих пор. Огромная – львиная – голова с копной волос, высокий лоб. Яркие цвета; лицо, как на портретах кисти Сезанна, казалось сконструированным не из кривых, но из плоскостей. Казалось, он за чем-то охотится; это выражение усиливали его очки в роговой оправе. Не знаю, насколько сильно я примешиваю к этому первоначальному образу то, что узнал о нем впоследствии. Но точно помню свое первое впечатление: твердые черты этого лица казались высечены из мрамора и вместе с тем

были по-детски миловидны. Моя дочь, художница, которую Паулюс (так его имя звучало на его родном немецком языке) навестил в госпитале – ей не было тогда двадцати лет – впоследствии часто вспоминала его «прекрасную голову».

В тот январский день я помог ему найти комнату, которую он искал, а затем пошел дальше, позабыв об этом случае. Но его лицо позабыть я не мог.

За полгода до этой встречи, в августе, я вернулся после трехлетнего пребывания в Греции, где работал преподавателем в Анатолийском колледже в Салониках. Каникулы оставляли много времени для путешествий: я провел два лета в компании художников-модернистов, делая зарисовки и изучая народное искусство. Я также посещал, хотя и недолго, семинары Альфреда Адлера в Вене. Мне было всего двадцать лет, и на меня произвело сильное впечатление то ощущение трагизма жизни, которое вызвала у меня культура Европы и, в особенности, древней и современной Греции. Мне казалось, что наслаждение жизнью и естественная радость, которую я испытал в Европе, были гораздо сильнее, чем то, что я пережил за все те годы, пока рос в Мичигане: они рождались из глубин, которых можно было достичь только благодаря этому трагическому ощущению. Без него человек лишь предается смене поверхностных впечатлений и «расслабляется». Европа для меня в начале

тридцатых ассоциировалась не только с физической эмансипацией, но и с вновь обретенной духовной и интеллектуальной свободой.

Американская психология, в лоно которой я возвратился, казалась наивной и отдавала упрощенчеством: она упускала именно то, что делало жизнь столь богатой и восхитительной. Мне очень не хватало компании, где можно было задавать вопросы о смысле отчаяния, самоубийства и нормальной тревоги (в те дни это понятие не использовалось никем из американских психологов). Если мы ставим подобные вопросы, то должны обнаружить корреляты к названным понятиям – мужество, радость и интенсивность бытия. Токвиль[1], по-моему, был прав, полагая, что американцы, будучи физически свободнее своих дальних родичей-европейцев, в то же время эмоционально связаны конформизмом и духовно порабощены страхом остракизма.

Нельзя сказать, что у меня появилось желание поселиться в Европе. Я американец до мозга костей – настоящий житель Среднего Запада, во многих отношениях образчик американца. Мне хорошо знакомы характерные черты моих соотечественников: великодушие, дружелюбие, готовность идти на риск и экспериментировать, энергичность – и я горжусь ими несмотря на то, что с ними соседству-

[1] Алексис де Токвиль (1805–1859) – французский политический мыслитель, автор книги «Демократия в Америке». – *Прим. пер.*

ют противоположные качества вроде жестокости и любви к деньгам. Американский характер по-настоящему непрост, и я хотел делить горе и радость с соотечественниками. Верность родине значительно усиливала мою ненависть к таким чертам нашей национальной жизни, как насилие и духовная пустота. Я часто перечитывал последнюю страницу романа Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» – несравненного романа об американской мечте, где описано, как голландские моряки, приплывшие сюда два столетия назад, приобщились

> последней и величайшей человеческой мечты; должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом, невольно поддавшись красоте зрелища, которого он не понимал и не искал, – ведь история в последний раз поставила его лицом к лицу с чем-то соизмеримым заложенной в нем способности к восхищению[2].

Я думал, что отчасти понимаю, что произошло в душах моряков, когда они затаили дыхание, увидев

[2] Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби. Перевод Е.Д. Калашниковой // Фицджеральд Ф.С. Избранные произведения. В 3 т. Т. 1. М., 1977. С. 435. – *Прим. пер.*

новый континент. И я не сомневался, что хочу понять это еще глубже.

Таковы отчасти были причины, которые привели меня той зимой в семинарию Теологического общества. Хотя многое в церковной организации приводило меня в ужас, я страстно стремился обрести понимание того измерения жизни, которое свойственно лишь человеку.

2

Через неделю после встречи в холле я увидел на стенде объявление о предстоящем цикле лекций немецкого ученого. Его имя ни о чем не говорило мне. Но темы! «Духовные следствия психоанализа», «Религиозный смысл современного искусства» – и то же самое относительно Карла Маркса, коммунизма и других важнейших аспектов современной культуры. В то время проявления буржуазного начала вызывали у нас самую резкую реакцию, и эти лекции обещали честное проникновение в суть проблем современного общества, которого я так жаждал.

Добравшись до аудитории, я увидел на кафедре своего безымянного знакомца из освещенного солнцем коридора. Лекции проходили по вечерам в пятницу; пришло всего пятнадцать-двадцать человек студентов и с полдюжины сотрудников факультета,

один из которых сыграл важную роль в появлении Тиллиха в Америке – то был Рейнольд Нибур[3].

Тиллих сидел за лекторским столом и старательно выговаривал слова – тогда он только изучал наш язык. Несмотря на этот ломаный английский, я почувствовал, что всю жизнь ждал того, кто бы говорил так, как он. Его слова содержали истины, которые я смутно сознавал годами, но никогда не смел высказать. К примеру, он утверждал, что лучший способ ощутить духовный строй исторического периода – это увидеть произведения искусства, создававшиеся тогда, ибо художники выражают бессознательные устремления общества. Если определить религию, как Тиллих – высшая, предельная забота (ultimate concern), – то картины современного художника, кажущиеся нигилистическими и бессмысленными, вполне могут оказаться более религиозными, чем живопись, созданная в соответствии с требованиями условности – вспомним голову Христа, написанную Гофманом[4]. Еще пример: «Бог не существует. Он не существо, бытие которого можно сопоставить с бытием других существ. Он сам и есть бытие».

Когда Тиллих говорил, на его лице чередовались выражения агонии и радости, отражавшие его

[3] Карл Пауль Рейнольд Нибур (1892–1971) – американский протестантский теолог. – *Прим. пер.*

[4] Вероятно, речь идет о картине немецкого художника академического направления Генриха Гофмана (1824–1911) «Христос и богатый юноша». – *Прим. пер.*

чувства в тот момент. При виде этого меня захватило ощущение реальности, дотоле не испытанное мной в интеллектуальном мире. Несомненно, Генри Слоун Коффин (в то время – ректор семинарии), присутствовавший на тех первых лекциях, переживал то же самое; впоследствии он заметил: «Я не понимаю, что он говорит, но, когда я вижу его лицо, я верю ему».

Тиллих относился к вопросам с величайшим уважением. Когда вы что-то спрашивали – даже если ваши слова звучали неинтересно или не имели отношения к делу, – он всегда полагал, что вы имели в виду некие высшие смыслы, и так перефразировал вопрос, что заставлял вас гордиться им, хотя вы часто не понимали в точности, что отвечал Пауль или каков был смысл его ответа. Похоже, он верил, что все мы, собравшиеся там, постоянно озабочены последними вопросами (ultimate questions) разума, и любви, и смерти.

На одной из лекций Тиллих сказал с серьезным видом: «Существует ли дьявол? Я не знаю». Сидевшие в зале согнулись от хохота. В те дни казалось смешным относиться к существованию дьявола с такой серьезностью. Несомненно, большинство ни на минуту не вспомнило о том, что говорящий только что вырвался из гитлеровской Германии.

В то время Тиллих не очень хорошо знал английский, и это влекло за собой забавные оговорки. Он вел

речь о «Лунной сонате» Бетховена, называя ее «Moonshine Sonata»[5]. Рассматривая идеи некоего философа и говоря о времени и пространстве, он произнес «spice and tame» и, когда класс взорвался от хохота, поправился: «Я всегда делаю эту ошибку, я хотел сказать "tame and spice"»[6]. И по сей день я не могу сказать «время и пространство», не вспомнив его затруднения.

Правду сказать, большинство студентов не привыкло к выступлениям немецких профессоров (пусть даже выдающихся). Они буквально ревели от смеха – зачастую из-за ошибок и затруднений Тиллиха в английском. Это помогало снять напряжение во время столь необычных лекций. Как сейчас помню, один юноша задал вопрос: «Получается, что апостол Павел вытащил мир из заварушки только для того, чтобы втянуть его в другую?» «Львиное» лицо человека, стоявшего на возвышении, покраснело еще сильнее, чем прежде; на нем отразилось страдание и замешательство, а класс захихикал. Он бросил взгляд через помещение к двери, в которую вошел, затем повернул большую голову к другой стене, словно искал ближайший выход, чтобы спастись бегством. Затем он беспомощно посмотрел на слушателей и спросил с сильным немецким акцентом: «Что такое заварушка?» Если на тот момент у него были трудности с литературным языком, то просторечие

[5] *Moonshine* – самогон; речь идет о «Лунной сонате» («Moonlight Sonata») Л. Бетховена. – *Прим. пер.*

[6] Вместо *space* (пространство) П. Тиллих употребил слово *spice* (специи), вместо *time* (время) – *tame* (ручной). – *Прим. пер.*

тем более ставило его в тупик. Студент вежливо перефразировал вопрос, заменив послужившее камнем преткновения слово «заварушка» на «переплет». И Тиллих проиграл всю шараду снова.

Немецкие профессора не привыкли, чтобы над ними смеялись. Я видел выражение боли за очками в роговой оправе: страдание на его лице свидетельствовало, насколько серьезно он относится к тому, что говорит. Он то и дело краснел, переводя взор с одного лица в аудитории на другое, словно ища то, на котором сможет отдохнуть его глаз. В какой-то момент он сказал, обращаясь к слушателям: «Вы смеетесь над моими ошибками...» – словно почувствовав себя в ловушке. Я только что приехал из Европы и знал, что там к преподавателям относятся совершенно иначе. В Австрии, заполняя книги для записи постояльцев в отелях, я не раз писал в графе, где требовалось указать профессию, слово «учитель» – только для того, чтобы, впервые выйдя в столовую, увидеть перед своим прибором карточку, где над моим именем красовалось: «Господин профессор, доктор». Тяжело было смотреть на мучения Пауля.

Поэтому я написал и положил в его почтовый ящик на факультете короткое письмо. Я пытался объяснить, что, хотя он и вызвал этот смех, слушатели смеялись, если так можно выразиться, не *против* него и что и я, и другие учащиеся высоко оценили его лекции. Со-

знавая, что он не отличит меня от остальных, я думал, что это всего лишь анонимный жест и не более. По крайней мере, мне будет легче, когда кругом снова начнут хохотать. Вот один из американских обычаев, незнакомый европейцам, думал я: встретив того, кто нуждается в помощи, мы помогаем ему, кто бы он ни был – чужак, иноземец или друг.

Но Пауль каким-то образом «вычислил» меня и подошел ко мне в зале неделю спустя; он сказал, что мое письмо было для него очень важно. Он поблагодарил меня и, как мог, объяснил – по-прежнему, в типично немецкой манере, соблюдая дистанцию и избегая преждевременной откровенности, – что оно очень помогло ему в этот критический период.

В том же году, на исходе весны, я узнал о разводе моих родителей. Руководствуясь чувством долга, которое впоследствии, в ходе психоанализа, я осознал как «слишком эдипово», я прервал на время свои занятия и отправился в Ист-Лансинг, чтобы взять на себя заботу о том, что осталось от моей семьи – матери, младшей сестре и брате. Я получил работу в Мичиганском колледже сельского хозяйства и оставался там два года. Время от времени до меня доходили слухи о Тиллихе – в особенности когда я перебрался в Чикаго, поскольку к тому моменту он стал преподавать в тамошнем университете. Говори-

ли, что он выдающийся ученый и философ и что на факультете его ценят очень высоко.

Когда я приехал обратно в Нью-Йорк, Тиллих также вернулся туда. Он научился добродушно смеяться над своими ошибками вместе со студентами. Веселился ли он на самом деле, или то была вынужденная мера (а может, смесь того и другого), я не знаю. Однако это помогало. Теперь он добился признания как лектор. На его курсы записывалось множество народа; впоследствии многие его чикагские, нью-йоркские или гарвардские ученики называли его наставником, оказавшим на них наиболее плодотворное влияние.

3

Впоследствии, когда мы с Паулем подружились, мне довелось узнать, что он вырос в маленьком городке, обнесенном стенами из грубо отесанного камня, в Восточной Германии, где его отец был пастором лютеранской церкви. Каждое утро и каждый вечер по улицам прогоняли стада коров и овец. Его отрочество прошло среди этих неизменно присутствовавших животных и деревенских ребятишек в ритме смены времен года, столь заметной по окрестным безмолвным полям. Городок защищал, служил убежищем; по вечерам он выглядел живым, веселым, а вокруг полей близ него стоял зловещий темный лес, и этот контраст запомнился надолго.

Что важнее всего, права горожан и местные традиции уходили корнями в средневековье. Пауль сам говорил, что христианство никогда полностью не привилось в восточных землях Германии; древние легенды сохраняли там прежнюю власть. Каждый камень в стенной кладке, не говоря уж о древних городских воротах, вызывал в памяти мифы, обряды, фольклор, заставлял задуматься о сокровищах, которые накапливались здесь столетие за столетием. Многие из нас, американцев, выросли в унылых, выстроенных на скорую руку городах, где жизнь основывалась на принципах демонстративного потребления. Ничто не мешало Генри Форду расклеивать по всей стране плакаты с надписью «История – это чушь»: ведь мы привыкли верить, что история началась на последнем собрании членов правления нашей организации. Где мы, если так можно выразиться, храним красоту? По необходимости, вне городов – в прекрасных лесах, реках, горах Америки. Но Пауль в своем городке буквально жил в окружении поэзии и легенд, которые он изучал в школе. Если ты растешь там, где «каждый камень является свидетелем многовекового прошлого, – написал впоследствии Пауль, – у тебя возникает ощущение истории как живой реальности, где прошлое в полной мере участвует в настоящем»[7]. Даже воздух, даже земля у него

[7] *The Theology of Paul Tillich*, paperback, ed. by Charles W. Kegley and Robert W. Bretall (New York: The Macmillan Company, 1961), p. 5.

под ногами были наделены душой; они питали его и без того живое воображение.

Мы, студенты, слышали, что Тиллих эмигрировал из гитлеровской Германии и удостоился чести стать первым христианином, которого лишили должности преподавателя, когда Гитлер пришел к власти. Но подробностей не знал никто. Впоследствии я составил из кусочков – по большей части из эпизодов, пересказанных мне Паулем и его женой Ханной, – историю «гибели богов»[8] в те последние месяцы.

Жизнь германской Веймарской республики была отмечена ощущением отчаяния, и день ото дня оно становилось все сильнее. Каждого немца по-прежнему тяготил, точно мельничный жернов на шее, груз приговора, подтверждавшего его вину в бедствиях первой мировой войны. Менее обеспеченная часть среднего класса постепенно таяла; имел место своего рода духовный износ в сочетании с распадом целей и ценностей. Да, искусства процветали, в чем можно убедиться, глядя на живопись экспрессионизма той поры, на оригинальные произведения школы «Баухаус». Но Пауль рассказывал, как средний класс издевался над этими творениями: в те годы он не мог прийти на выставку, не оказавшись тут же в окружении соотечественников, пялившихся на картины с таким видом, точно перед ними была порнография.

[8] Р. Мэй использует слово *Götterdämmerung*, означающее в древнегерманской мифологии конец света. – *Прим. пер.*

Кругом господствовало настроение fin de siècle. В сексуальной сфере наблюдалось сплошное падение нравов, и новая чувственность (new sensuality) царила в атмосфере декаданса.

В подобной среде просто обязан был возникнуть гитлеризм или его подобие. Пауль и его коллеги пытались бороться: они не раз приезжали в восточные районы Берлина и произносили перед рабочими речи о религиозном социализме. Но на следующий вечер являлись нацисты и с тех же самых трибун придавали тем же самым словам иной смысл, спекулируя на том, что говорил Пауль и его товарищи, и обеспечивая таким образом поддержку национал-социализму. Пауль мог постоять за себя в любом публичном споре, и тот спор не был исключением. Еще в 1937 или 1938 году (дело было в Нью-Йорке, и оба мы заблуждались насчет состава аудитории) я повел его на митинг молодых коммунистов. Когда они набросились на него с нападками, он ловко обратил их аргументы против них же самих. В ответ на обвинение: «Вы только пропагандируете бесплодные теории, и больше ничего», – он ответил: «По-вашему, все идеи, кроме коммунизма, бесплодны. Не слишком состоятельная теория, мягко скажем!» Но ситуация в нашей стране весьма отличалась от той, что сложилась в Германии в начале тридцатых. Пытаясь сдержать нахлынувший поток, Тиллих ощущал, насколько беспомощен и он сам, и

все прочие. Было ясно, что он и его отечество говорят на разных языках и не понимают друг друга.

Хулиганы-нацисты избили одного из его студентов неподалеку от места занятий. Тиллих помог отнести его в здание. После этого в своих лекциях он стал порицать нацистов в самых сильных выражениях, на какие был способен. Вдвоем с Ханной они пошли слушать выступление Гитлера; через какого-то дельца им удалось достать места на ораторской трибуне. Но после речи оба ощутили досаду и отчаяние: этот варвар, простонал Пауль, не умел даже как следует говорить по-немецки!

Чувство отчаяния, овладевшее им, стало еще сильнее оттого, что германская церковь официально признала диктат Гитлера. Несколько раз они видели, как сжигают книги; количество уничтоженных томов было не так уж велико, но символическое значение случившегося повергло их в ужас. Это маниакальное поведение начало пробуждать в нем ярость. Того Пауля, которого я знал, почти невозможно было разгневать: я видел его в ярости только дважды за все тридцать с лишним лет нашей дружбы. Но в те дни он, похоже, испытывал гнев постоянно, и это чувство все усиливалось по мере того, как приближался миг судьбоносного решения.

Затем история повествует о секретных интервью и долгих тайных встречах после наступления темноты. Берлин стал похож на осажденный город. Пауль

вызвался писать для подпольной прессы. Но его окружение сочло это рискованным, так как его стиль был слишком узнаваем. Даже говоря с парикмахером, приходилось взвешивать каждую фразу, чтобы тот не проболтался на следующий день штурмовикам.

Пауль оценивал гитлеризм как катастрофу, как наступление всеобщего варварства, но за пределами Германии люди не могли до конца поверить, что всё, о чем рассказывают, происходит на самом деле. В то лето в Европе то и дело звучали шутки об Адольфе Первом – удобный способ не принимать слишком всерьез надвигавшийся катаклизм. За те три года, что я провел на этом континенте, я ни разу не съездил в Германию – возможно, меня останавливало какое-то предчувствие того, что должно произойти. Но в августе 1933 года вместе со своим товарищем, венским художником, я все-таки отправился из Вены в Бремен, откуда должно было отплыть наше судно. Мы сели в поезд ночью, и, проснувшись утром, я заметил в разговоре со спутником: странно, что мы в Германии, ведь тут зеленеет трава, а я думал, что из здешних холмов прорастают ножи. Он тут же увел меня в конец вагона, в мужскую уборную, и в этом единственном доступном нам уединенном месте строго-настрого запретил мне говорить такие вещи, пока я нахожусь на немецкой земле.

В городах самой Германии, по мере того как росло отчаяние, усиливалось и легкомыслие. Вечеринки

устраивались каждый день, люди целовались, словно в последний раз. В некоторых случаях это было действительно так: несколько раз Ханна и Пауль приходили в гости, а затем узнавали, что на следующую ночь хозяин и хозяйка покончили с собой. Все жили буквально в атмосфере самоубийства; суицид стал повсеместной реальностью.

Летом 1933 года Тиллиху звонили из-за границы Горас Фрисс – глава философского факультета Колумбийского университета, перебравшийся затем в Италию, и Рейнольд Нибур из Нью-Йорка. Оба настойчиво приглашали его читать лекции в Колумбийском университете и семинарии Теологического общества. Но Пауль всегда считал, что покинуть Германию означало удалиться из интеллектуальной столицы мира – это убеждение было одним из немногих проявлений высокомерия, которые он себе позволял.

Судьба распорядилась так, что ему не пришлось выбирать, уезжать или нет. Он договорился о встрече с министром образования, назначенным новой властью, и взял с собой Ханну в Берлин. Она ждала в кафе, в подвальчике, пока мужчины больше часа вели откровенный разговор. Пауль, взяв с самого начала инициативу в беседе в свои руки, поставил два вопроса; ответы на них должны были определить его позицию. Будет ли правительство продолжать преследовать евреев? И какой политики оно будет